

УДК 821.111-312.9

ББК 84(4Вел)-44

С36

Серия «Фантастика: классика и современность»

Robert Silverberg
DYING INSIDE
THE BOOK OF SKULLS

Перевод с английского
А. Кириченко (Умирая в себе)
В. Малахов (Книга черепов)

Компьютерный дизайн В. Половцева

Печатается с разрешения литературных агентств
The Lotts Agency и Andrew Nurnberg.

Силверберг, Роберт.

С36 Умирая в себе. Книга черепов : [сборник : перевод с английского] / Роберт Силверберг. — Москва : Издательство АСТ, 2020. — 416 с. — (Фантастика: классика и современность).

ISBN 978-5-17-122078-5

Роберт Силверберг — Грандмастер фантастики, обладатель 6 «Небьюл», 5 «Хьюго», 8 «Локусов» и еще десятка разнообразных наград. Первый рассказ опубликовал в 19 лет, а в 21 год завоевал «Хьюго» как наиболее многообещающий молодой автор. Нередко в одном номере журнала «Amazing Stories» или «Fantastic» появлялись несколько его рассказов под разными псевдонимами, которых у него было больше трех десятков.

В ранний период своего творчества Силверберг стремился охватить как можно большую читательскую аудиторию, не пренебрегая ни одним из жанров — писал научпоп, детективы, эротику. В 1967—1976 годах он полностью сосредоточился на фантастике, заслужив любовь как почитателей твердой НФ, так и фэнтези-саг (цикл «Маджипура»).

«Умирая в себе» — роман, удостоенный мемориальной премии Джона Кэмпбелла, — повествует о нелегкой судьбе телепата, пытающегося смириться с особенностями своего дара. Экстраординарные способности постепенно разрушают доброго и чуткого Дэвида, пожирают его личность.

Во втором романе, «Книга черепов», компания студентов отправляется в путешествие по пустыне с целью проникнуть в заповедное Братство Черепов и раскрыть секрет бессмертия, которым, по слухам, обладают таинственные члены затерянного в аризонской глуши культа. Для этих парней бессмертие — весьма привлекательная игрушка, вот только не слишком ли дорогую цену придется заплатить за обладание ею?

УДК 821.111-312.9

ББК 84(4Вел)-44

© Agberg, Ltd, 1972

© Перевод, А. Кириченко, 2020

© Перевод, В. Малахов, 2020

© Издание на русском языке AST Publishers, 2020

ISBN 978-5-17-122078-5

УМИРАЯ В СЕБЕ

ГЛАВА 1

Что ж, пора снова двигаться в центр, в университет, чтобы подзаправиться долларами. Мне не так уж много и требуется на прокорм — баксов двести в месяц. Но запасы поистощились, и я не решаюсь снова занимать у сестры. А студентам вскоре сдавать первые сочинения за семестр. Это надежный бизнес. Вот и подоспела пора мобилизовать утомленный до изнеможения мозг Дэвида Селига. В это прекрасное золотое осеннее утро у меня, быть может, получится набрать заказов долларов на семьдесят пять. Воздух чистый, живительный, высокое давление вытеснило из Нью-Йорка сырость и туман. В такую погоду моя хиреющая сила расцветает снова. Итак, отправимся, ты и я, как только утро прогонит тьму с небес, на метро, на станцию «Бродвей». Приготовьте билеты, пожалуйста!

Ты и я. А кому я, собственно, это говорю? Я же собираюсь ехать в центр в полном одиночестве. Ну конечно, я обращаюсь к самому себе, а также к тому существу, которое живет во мне, прячется в своей губчатой норе и шпионит за ничего не подозревающими смертными. Этот внутренний монстр, этот доносчик — живая моя боль. Но умрет он, видимо, раньше меня. Йейтс однажды написал диалог души и тела, почему бы не сделать того же и Селигу, который раздвоился так, как бедному глупенькому Йейтсу и не снилось. Я имею в виду уникальный и губительный талант, поселившийся в черепе Селига подобно непрошеному гостю. Почему бы не описать? Так идем же вместе, ты и я. Через холл. Нажмем кнопку. Войдем в лифт. В нем пахнет луком. Эти крестьяне, эти роящиеся пурториканцы, они повсюду распространяют свой характерный запах. Соседи мои. В общем, неплохие люди. Мне они нравятся. Вниз! Вниз!

Сейчас 10.43 по нью-йоркскому времени. Средняя температура в Центральном парке — 57 градусов. Влажность — 29%, на барометре 30.30 и прослеживается тенденция к падению. Ветер северо-восточный, 11 миль в час. По прогнозу ясное небо и солнечно днем, вечером и завтра утром. Вероятность осадков сегодня равна нулю, завтра — 10 процентов. Показатель качества воздуха выше среднего. Дэвиду Селигу 41 год. Высоковат, худощавая фигура холостяка, который сам себе готовит скудную пищу. Обычное выражение лица — недовольно-озадаченное. Немного щурится. В своей темно-синей джинсовой куртке, тяжелых башмаках и полосатых брюках по моде 1969 года он выглядит чрезвычайно молодо, по крайней мере фигурой; в целом же он похож на человека, сбегавшего из закрытой лаборатории, где занимаются тем, что сажают лысоватые головы людей зрелого возраста на тела подростков. Как это произошло? С какого времени начали стареть его лицо и прическа?

Обвисший кабель насмешливо скрипит, когда Селиг выходит из своей двухкомнатной квартиры на 12-м этаже. Пожалуй, этот ржавый кабель старше, чем он сам. Он-то 1935 года рождения, дом же построен, вероятно, в 1933-м или 1934-м, во времена достопочтенного мэра Фиорелло Ла-Гардия. Но, может быть, и позже, перед войной, во всяком случае. (А помнишь 1940 год, Дэвид? Тебя тогда взяли на Всемирную выставку.) Так или иначе, здания потихоньку стареют. А что не стареет?

Лифт со скрипом останавливается на седьмом этаже. Даже прежде чем открывается покорябанная дверь, я ощущаю трепетную дрожь живого испанского ума. Конечно, ошибиться трудно, лифт ожидает молодая пуэрториканка — в доме их полно, а мужья в это время на работе. Но я и так был уверен, что улавливаю ее психическую эманацию, а не просто играю в отгадки. Все в точности. Она мала ростом, смугла и уже не на первом месяце беременности. Я могу различить два нервных сигнала: живое как ртуть излучение ее собственного сознания и тупые, туманные позывы плода, примерно шестимесячного, запертого в ее вздутом животе. У женщины плоское лицо, широкие бедра, маленькие блестящие глаза и вытянутые губки. Второй ребенок, грязная девочка лет двух, держит мать за па-

лец. Она хихикает, а мать, входя в лифт, приветствует меня настороженной улыбкой.

Они становятся ко мне спиной. Напряженное молчание. «Буэнос диас, сеньора, — мог бы сказать я. — Прекрасный день, мэм, не правда ли? Какое у вас прелестное дитя». Но я молчу. Я с ней незнаком. Она похожа на всех других, живущих в этом доме, даже умственная продукция у нее стандартная, неиндивидуальная: в голове бананы, рис, выигрыши в еженедельной лотерее, а вечером телевизор. Тупая сука; но — она человек, и мне она нравится. Как ее зовут? Альтаграсия Моралес, Амантина Фигероа, Филомена Меркадо? Люблю испанские имена. Чистейшая поэзия. Сам я вырос среди пухленьких глуповатых девиц по имени Сандра Винер, Бевверли Шварц, Шейла Вайсброд. Мэм, может быть, вы миссис Иносенсия Фернандес? Или Кладомира Эспиноза? Или Бонифация Колон? А может быть, Эсперанса Домингес? Эсперанса, Эсперанса! Я люблю вас, Эсперанса! — звучит в моей груди вечно. (На Рождество я был на бое быков в Эсперанса Спрингс, штат Нью-Мексико. Останавливался там в «Холидей Инн». Нет, я дурачусь.) Ну вот и нижний этаж. Делаю шаг вперед, чтобы открыть дверь. Милая тупая беременная чикита даже не улыбается мне, выходя из лифта.

Теперь в метро, хип-хоп, один длинный прогон. В нашем отдаленном квартале линия еще наземная. Прыгая через щели, грохочу по ступенькам, вбегаю на станцию, ничуть не запыхавшись, — результат правильной жизни. Простая диета, не курю, пью немного, никаких кислоток и травок, никакой спешки. Станция в этот час почти пуста. Но я сразу же слышу набегающий грохот колес, лязг металла по металлу, и одновременно с севера на меня накатывает мощный поток мыслей целой фаланги мозгов, упакованных в пяти-шесть вагонов. Души всех пассажиров, спрессованных в единую массу, разом наваливаются на меня. Масса эта подрагивает, как студнеобразные сгустки планктона в неводе, образуя один сложный организм. Но когда поезд въезжает на станцию, я уже могу выхватить разрозненные выкрики, яростные порывы желаний, вопли ненависти, угрызения совести, выделяющиеся из неясной общности, как отдельные мотивы из симфонии

Малера. Сегодня восприятие у меня очень сильное. Я многое улавливаю. Определенно — лучший день на этой неделе. Возможно, причиной тому низкая влажность. Но не думаю, что снижение моих способностей прекратилось. Когда я начал лысеть, был у меня счастливый период, показалось, что процесс разрушения остановился, даже началось улучшение — над голым лбом появились новые темные пряди. Но после краткого всплеска надежды я пришел к убеждению, что никакого чудесного возрождения нет, волосы заново не вырастают. Был некий прилив гормонов, но потом все стало на свои места и шевелюра возобновила отступление. Так и в данном случае. Твердо знаешь, что в тебе что-то умирает, приучаешься не доверять мимолетному оживлению. Сегодня способность моя могуча, я отчетливо различаю все, а завтра не будет ничего, кроме мучительно-невнятного бормотания.

Во втором вагоне я нахожу место в углу, усаживаюсь и открываю книгу в ожидании прибытия в центр. Я перечитываю «Моллой умирает» Беккета*. Эта вещь прекрасно подходит к моему настроению, к постоянному сожалению о самом себе, к которому, как вы могли заметить, у меня имеется определенная склонность.

«Время мое ограничено, — читаю я. — Ограничено потому, что в один прекрасный день, когда природа будет улыбаться, мученье отзовет свои черные когорты, печаль уйдет навеки. Положение мое поистине затруднительно. Какие прекрасные вещи, какие прекрасные мгновения я теряю из-за страха, страха повторить старые ошибки, страха не успеть вовремя. Я боюсь веселиться, и все ради последнего часа, исполненного страдания, бессилия и ненависти. Много есть форм, где неизменное ищет освобождения от бесформенности».

О да, добрый Сэмюэл, у него всегда найдется одно-два слова унылого утешения.

Где-то в районе 180-й улицы я поднимаю глаза и вижу напротив, наискось от себя девушку, которая явно меня изучает. На вид ей лет двадцать с небольшим, внешне болезненная,

* Беккет Сэмюэл — ирландский драматург, лауреат Нобелевской премии. (Прим, ред.)

но приятная: длинные ноги, маленькая грудь, копна рыжих волос. У нее тоже книга. Я прочел заглавие на обложке — «Улисс». Однако она не читает, книга лежит у нее на коленях. Почему она смотрит на меня? Я ее заинтересовал? Пока что я не проникал в ее мозг. Войдя в поезд, я автоматически застопорил прием — этой штуке я научился еще в детстве. Если бы я не изолировал себя от рассеянного шума в поездах или иных людных местах, я вообще не смог бы сосредоточиться ни на чем. И сейчас, не стараясь уловить сигналы ее мозга, я пробую угадать, что она думает обо мне. Я часто играю сам с собой в такую игру. Наверное, у нее такие мысли: «Как интеллигентно он выглядит... Должно быть, много страдал, его лицо гораздо старше, чем тело... В глазах его нежность, взгляд такой печальный... поэт, учитель... Ручаюсь, он очень чувственный... всю свою любовь вкладывает в физический акт, в слияние... А что он читает? Беккета? Да он поэт, он писатель... может, из знаменитых... Но я не должна быть слишком активной. Напористость его оттолкнет. Застенчивая улыбка — вот что привлечет его... Шаг за шагом... Я приглашу его на обед...»

А затем, проверяя точность своей интуиции, я настраиваюсь на волну ее мозга. Сперва никакого сигнала нет. Проклятье, моя убывающая сила опять подвела меня! Но вот она все-таки возвращается, сначала слышен низкий гул размысленный всех пассажиров, а затем прорезается и явственный тон души девушки. Что же я узнаю? Думает она о классе карате на 96-й улице, куда собралась пойти сегодня... У нее любовь с инструктором, рябым и смуглым японцем. Они встретятся вечером. Сквозь ее мозг проплывает воспоминание о запахе сакэ и о могучем нагом теле, навалившемся сверху. Обо мне там нет ничего. Я только часть фона, наравне со схемой линий метро над моей головой. Я замечаю, что у девушки действительно появляется застенчивая улыбка, но как только она видит, что я уставился на нее, улыбка сразу же исчезает. О Селиг, твой эгоцентризм всякий раз подводит тебя. Возвращаюсь к своей книге.

Поезд томит меня довольно долго непредвиденной стоянкой в тоннеле севернее 137-й улицы; затем он наконец трогается и доставляет меня на 116-ю, к Колумбийскому универ-

ситету. Выхожу на дневной свет. В первый раз по этой лестнице я взобрался четверть века тому назад, в октябре 1951 года, испуганный выпускник средней школы, прыщеватый и коротко остриженный, приехавший из Бруклина для собеседования. В главном здании университета — вот так-то! — со мной разговаривал ужасно уверенный, зрелый, матерый экзаменатор, ему было добрых 24 года, а может быть, и 25. Как бы то ни было, меня приняли в колледж. А затем я стал бывать на этой станции метро ежедневно, начиная с сентября 1952 года, пока наконец не ушел из дому и не поселился ближе к кампусу. Раньше здесь находился старый металлический павильончик для спуска в подземный переход, расположенный между полосами движения, и студенты, эти рассеянные умы, погруженные в Кьеркегора, Софокла и Фицджеральда, всегда перебежали дорогу перед машинами, отчего многие гибли. Сейчас павильон снесли, выходы из метро расположены рациональнее, на боковых дорожках.

И вот я иду по 116-й улице. Справа широкий газон Южного поля, слева невысокие ступени, ведущие к Нижней библиотеке. Я еще помню, когда Южное поле было спортивной площадкой в центре кампуса — бурая грязь, дорожки, изгороди... На первом курсе я играл здесь в софтбол. У нас были шкафчики в гимнастическом зале, мы там переодевались, а затем в тапочках, майках, обтрепанных шортах, чувствуя себя просто голыми среди прочих студентов в форме или комбинезонах, мчались вниз по бесконечной лестнице на Южное поле, чтобы часочек побегать на свежем воздухе. Я считался хорошим игроком. Не за мускулы, а за быстроту реакции и верный глаз. У меня ведь было преимущество: я мог угадывать, что на уме у подающего. Вот он стоит и думает: «Этот парень тощий, он не ударит как следует, дам-ка я ему повыше да по сильнее», а я уже готов принять такой мяч, отбить налево и перебежать, прежде чем кто-нибудь понял, что произошло. Противник пробовал менять тактику, но я перемещался безошибочно, встречал низкий мяч, начинал двойную игру. Конечно, это был только софтбол, но мои сокурсники, увальни, не могли толком и бегать, не говоря уже о чтении мыслей. Я наслаждался неофициальной репутацией выдающегося ат-

лета и позволял себе в мечтах стать игроком средней линии у «Доджеров». Помните «Доджеров» из Бруклина?

А когда я был на втором курсе, Южное поле превратили в прекрасный зеленый парк, рассеченный мощеными дорожками. Это было сделано в честь 200-летия университета в 1954 году. Боже, так давно... и я старею... «Я старею. Засучу-ка брюки поскорее... Я слышал, как русалки пели, теща собственную душу. Их пенье не предназначалось мне*».

Поднявшись по ступенькам, я усаживаюсь примерно в пятнадцати футах от бронзовой статуи alma mater. Здесь мое пристанище в хорошую погоду. Студенты знают, где меня найти, и, когда я прихожу, слух распространяется быстро. Есть еще пять или шесть человек — в основном безденежные студенты, но я — самый быстрый и надежный, у меня есть поклонники. Сегодня, однако, бизнес начинается неудачно. Я сижу уже минут двадцать, беспокоюсь, поглядываю в Беккета, смотрю на статую. Несколько лет назад какой-то радикал бомбой проделал дыру в ее боку, но сейчас не видно никакого следа. Помню, тогда я был шокирован, а затем шокирован тем, что был шокирован — почему это я должен возмущаться из-за тупой и глупой статуи, символизирующей тупую школу? Когда это было? В 1969-м, кажется? Ну да, во времена неолита.

— Мистер Селиг?

Надо мной нависает огромный черный молодец. Широкие плечи, круглые щеки, невинные глаза. У бедняги чрезвычайные трудности. Он записался на курс общей литературы и должен срочно сдать сочинение о Кафке, которого он, конечно, не читал. (Сейчас футбольный сезон, сам он полузащитник и очень занят.) Я называю свои условия, он сразу соглашается. Пока он стоит рядом, я бегло зондирую его мысли, чтобы оценить знания, словарный запас, стиль. Парень умнее, чем выглядит. В большинстве все они такие. Вполне могли бы сами писать свои сочинения, будь у них время. Я делаю для себя заметки, записываю впечатления, и он удаляется ошарашенный. Торговля — дело живое. Этот придет брата-сту-

* Пер. А. Сергеева. (Прим. ред.)

дента, тот пошлет друга, друг пошлет кого-то из своих сокурсников, цепочка будет все удлиняться, веночек — сплетаться, и в результате однажды рано утром окажется, что я получил все заказы, которые способен выполнить. Я знаю свои возможности. Так что все в порядке. Две или три недели я буду есть регулярно, мне не придется терпеть снисходительность собственной сестры. Джудит будет рада не слышать обо мне... Теперь домой, начнем духовную жизнь. Я хорош — красноречив, серьезен, глубок — на уровне второго года обучения — и могу варьировать стиль. Я проходил литературу, психологию, антропологию, философию и прочие гуманитарные предметы. Благодарю Бога за то, что сохранились мои курсовые работы: даже двадцать лет спустя на них можно зарабатывать. Я беру три с половиной доллара за машинописную страницу, иногда больше, если мысли клиента выдают мне, что у него есть деньги. Гарантируется оценка не меньше, чем «Б+». Если хуже, платы не беру. Но брака у меня не было еще ни разу.

ГЛАВА 2

Дэвиду было тогда семь с половиной лет, он доставлял очень много хлопот своему учителю, и его решили послать для обследования к школьному психиатру — доктору Гиттнеру. Школа, расположенная на тихой зеленой улице в парковой зоне Бруклина, была дорогая, частная с ориентацией социалистически-прогрессивной и некоторой склонностью к марксизму, фрейдизму и джон-дьюизму*, и психиатр, специалист по отклонениям у детей среднего класса, за особую плату по средам вдумывался в суть обыкновенных детских проблем. На этот раз подошла очередь Дэвида. Родители, разумеется, согласились, их очень заботило поведение ребенка. Все говорили, что мальчик у них необыкновенный, развит не по годам, читает как двенадцатилетний, взрослые только-только не пу-

* Дью и Джон (1859–1952), американский философ-идеалист, один из ведущих представителей прагматизма. Идеолог «американского образа жизни».

гались его смышлености. Но в классе он грубил, не слушался, никого не уважал. Школьные знания, безнадежно элементарные, были для него отчаянно скучны. Дружил он только с неудачниками и обращался с ними жестоко. Большинство детей ненавидели Дэвида, учителя боялись его непредсказуемости. Однажды он перевернул огнетушитель в коридоре, чтобы посмотреть, будет ли тот разбрызгивать пену. Разумеется, огнетушитель сработал. Он часто приносил в класс полосатых змеек и на уроке пускал их ползать по полу, передразнивал всех учеников и даже учителей, весьма, надо сказать, похоже.

— Доктор Гиттнер хочет поговорить с тобой, — сказала ему однажды мать.

Дэвид заупрямился, придравшись к фамилии психиатра.

— Гитлер? Гитлер? Я не хочу разговаривать с Гитлером!

Дело было в конце 1942 года. Каламбур напрашивался сам собой.

— Гитлер хочет познакомиться со мной? Не хочу! Не буду! Я боюсь Гитлера.

— Не Гитлер, Дэвид. Гиттнер, Гиттнер, через букву «н», — уговаривала мать.

В конце концов Дэвид отправился в приемную психиатра, и, когда тот добродушно улыбнулся, здороваясь, мальчик выбросил вперед руку и гаркнул: «Хайль!»

Доктор Гиттнер терпеливо усмехнулся. Вероятно, эту шутку он слышал тысячи раз.

— Ты ошибся, — сказал он. — Я — Гиттнер, через букву «н».

Он был крупным мужчиной с длинным лошадиным лицом, высоким покатым лбом, мясистыми губами. За очками без оправы сверкали водянисто-голубые глаза. Кожа у него была мягкая, розовая. Он все время улыбался и старался выглядеть дружелюбным, таким старшим братом, но Дэвид чувствовал, что это братское дружелюбие искусственное, сплошное притворство. Нечто подобное он ощущал у многих взрослых; они старательно улыбались, но про себя думали: «Экий скверный ребенок, гаденыш вонючий!» Даже его отец и мать иногда думали такое. Он не понимал, почему в лицо взрослые говорят одно, а про себя думают совсем другое, не понимал, но привык и принимал как должное.